



Давид Яковлевич Айзман

Черный роман

АЙЗМАН Давид Яковлевич [1869–1922] — русско-еврейский беллетрист. Лит-ую деятельность начал в 1901, первый сборник рассказов вышел в 1904 (изд. «Русского богатства», СПб.). Внимание А. привлекала прежде всего еврейская среда; его повести и рассказы: «Ледоход», «Кровавый разлив», «Враги» и др. — беллетристическая интерпретация так наз. «еврейского вопроса» (бесправное положение евреев в царской России, их взаимоотношения с окружающим населением и т. д.), выдержанная в обычном либерально-народническом духе. Оставаясь в общем верным старой реалистической манере письма, А. по ряду внешних признаков примыкает к группе писателей (самым ярким ее представителем является С. Юшкевич), к-рая разрабатывала условный «русско-еврейский» стиль, стремясь оттенить строй еврейской речи.

Содержание

I.....	.0005
#2.....	

Давид Айзман
Черный роман

Самым темным местом во всей деревушки было кладбище и примыкавший к нему глухой пустырь за церковкой, где стоял дом кюре Дельгорга.

Кое где по улицам были расставлены фонари, они сгоняли с них тьму прочь, а тьма, разозленная, уходила на край деревни, к погосту, и на нем сгущалась в черноту такую тяжелую и зловещую, что, казалось, сама преисподняя открыла здесь проклятый свой зев.

Из близкого леса в бурные осенние ночи шли недобрые шумы, завывание и стон, они заполняли собой пустые места меж могил и в голом кустарников, кружили и толклись в бесовских битвах, и тогда выходили из могил потревоженные мертвецы, — свое отработавшее, старые, согбенные крестьяне, — вооружались косами и вилами, и также вцеплялись в бой. Усиливалось рычание, громче делалось шлепание саванов по лужам, бились в трепете об ветхие стены колокольные веревки, и под яростными наскоками ветра протяжно стонали ржавые, больные колокола.

Ведьмы же, пользуясь бессилием колоколов, носились тучами, с радостным гоготанием путались друг у дружки в намокших космах и большими ковшами разливали по застывшей в молчании деревушке ужас и страх.

В эти часы кюре Дельгорг сидел у огонька, сонно тлевшего в черном очаге, и с кривой усмешкой, в которой что-то жалкое было и змеиное, ждал... В эти часы, когда никто во всей деревне не рискнет показаться на пустыре около церкви, именно в эти напоенные страхом часы, и придет она... А когда она придет, то и начнется...

Нечистая улыбка сильнее изламывала края синеватых губ, и в глазах загорались колючие искры.

* * *

После того, как в Шальврени, большом селе, на кюре Дельгорга был сделан шомонскому епископу ряд доносов и оттуда он за пьянство перемещен был в нищий Шамбронкурский приход, на новом месте бедняга принялся пить с особенным ожесточением. Одиноким и безмолвным, просиживал он целые вечера за большим стаканом дрянного вина и

пил до одурения, до тошноты. Голые, неопрятные стены холостого жилья смотрели на него угрюмо, а он угрюмо смотрел на эти стены и, злясь, думал путанной мыслью о том, что происходит за ними... Порою он скрипел зубами и, с силой отплеываясь, ругался... Ругань, которой никто слышал, запивал кислым вином, а стакан его был одинок, и не с кем было чокаться...

Стакан всегда был одинок; бутылок же было много. Когда оканчивал кюре одну, он, не убирая ее, ставил на стол другую и, не торопясь, выпивал. К полуночи перед ним выстраивалось бутылок шесть, — а стакан все был один, ибо одинок был кюре Дельгорг... Опьянев и обессилев, он сваливался в неопрятную постель, — и снилось ему разное: грозный шомонский епископ и голые женщины, поля родной деревни и его первая месса, семинарские товарищи и краснорожий аббат Ренуар, который попал под суд за то, что бил семинаристов... Дельгорг просыпался; на него угрюмо смотрели неопрятные стены холостой квартиры, да одинокий стакан, из которого он выпил шесть бутылок вина.

Начинался рабочий день кюре; латинские слова, тоскливая, дряхлая церковка со сквозниками, шлепание деревянных башмаков по каменному полу ее, чадающие свечи, некрасивое изображение св. Девы, скребущее ухо бормотание молящихся старух, — и меж ними два-три красивых женских лица... Тревожили два-три красивых женских лица.

Кюре уныло выполняет свою работу и тускло думает при этом об одинокой ночи и кислом вине. О боге он думает мало. Он в бога, кажется, верит, порою изрядно его боится, но больше боится епископа из Шомона, — тот ближе...

У кюре были мутные глаза, очень выпуклые, красные веки и тяжелый нос с двумя темными бородавками на ноздрях. Спина у него была узкая, круглая, руки очень коротенькие, и левая лопатка поднялась выше правой. Ходил он быстро, суетливо, как то бок и опустив низко голову, — он точно разыскивал на земле место, куда зарыть свое одиночество... Одежда его была неряшлива, от него нехорошо пахло, вином и холостячеством, в деревне он всем был противен, и его

никто не уважал. Он венчал, крестил, исповедывал, и люди — простой, небалованный судьбою народ — сносили это, как сносили и свою бедность, свои недуги, свою отдаленность от железной дороги: обычно, с угрюмой покорностью и тихо жалея себя, порою со взрывами злобной брани... Дельгорг же молчал... Когда причащал умирающих, и те тоскливо метались, он думал, что мечутся они оттого, что и в последние минуты не дал им утешения Господь, и вот какой неприятный явился к ним священник... Тогда кюре Дельгорг, прикрыв глаза, глухо бормотал противным голосом молитвы, латинские слова, и упорно думал, что ничего, есть дома красное вино... Когда он людей венчал, видели перед собой брачующиеся человека замученного, испуганного, с тусклыми глазами, с ужимками пса, над которым подняли палку.

— Венчаются, — хриплым голосом говорил в полночь шестой бутылке кюре Дельгорг... — А будто неизвестно!.. венчаются, целуются... а потом драки... измены... нож в брюхо, бац револьвером... А если дети, то пойдут дифтериты, корь и прочее... Будто неизвестно, будто

новое что-нибудь!..

Он победно подмигивал грязным стенам, которые его не слышали, и потом бешено стучал дном стакана об стол.

— Венчаются!..

Он наполнял и осушал одинокий стакан, — до тех пор, пока не сваливался и не засыпал. А когда засыпал, ему снился кюре Дельгорг маленьким семинаристиком, со свежим лицом; краснорожий наставник аббат Ренуар, который был отдан под суд за то, что свежих семинаристиков любил, — а с ними вместе снилась новобрачная...

И тогда Дельгорг во сне плакал.

* * *

Тьма навалилась на дом кюре, как черный покров на покойника, и крепко придавила его к земле. Лил дождь, старые липы на кладбище плакали и вопили, а из лесу шел в черноте через могилы скрежет, — такой злоеущий, что казалось, ничего уж на земле не будет, кроме поражений и слез... Старый могильщик Жако, выходявший из кабака, как вкопанный остановился на крыльце: эти ворвавшиеся в его ухо грозные звуки налили

его тяжелым трепетом... «Теперь итти домой, мимо кладбища?! Закуска! закуска первый сорт!..»

Могильщик вошел обратно в кабак и, бледный, потребовал новый, — одиннадцатый уже, стакан абсента, который и выпил без воды... «По совести говоря — что такое мертвец?.. Никому неизвестно, если говорить, по совести, что это за штука — мертвец... Вот он лежит, тихонький, не движется, молчит... А почему молчит? Может он на Жако злится, — за то, что плутует Жако, могилу роет на десять сантиметров менее глубоко, чем положено. Или за то, что Жако сквернословит, когда переносит покойника... Теперь вот и пойдешь, не угодно-ли, прогуляйся-ка мимо кладбища, около дома кюре... Пойдешь, а какой-нибудь из этих тихоньких сцапает тебя, да — в пруд, башкой вниз... Не ткнет? Не может покойник ткнуть башкой вниз?! А пастух Моншагрэн в Лервиле, если спросить не стесняясь, — его почему в речке нашли?.. А, вот то-то и есть!.. Стало быть, об чем же разговаривать?..»

Сам кюре теперь тоже не выйдет из своего жилья. Даже здесь, в освещенной комнате,

при тлеющем огоньке, ему жутко и тошно от этого адского гомона за окном. Он не пойдет никуда теперь, не переступит через порог... Но к себе он кого-то ждет, — с уверенностью ждет. Он не прислушивается — за гулом буйной ночи он все равно не услышит шагов, — но он весь напрягаясь ждет. И на некрасивом, шестой день небритом лице его змеится усмешка, тупая и ехидная... Он наливает себе вина... У огня стоит второй стул... Кюре ждет...

И вот в задней комнате распахивается окно, и из черноты огорода лезет в окно черная фигура. «Ага, пришла!.. Ну, конечно... Будто неизвестно... Цепями к полу прикуй ее, — перегрызет цепи... Потому что ей этого еще больше, чем ему, хочется. Тоже штучка!..»

Монахиня влезла, закрыла поспешно ставень и подошла к очагу. Кюре не встал, не протянул гостье руки, а только презрительно оглядел ее. Так поступает он с ней каждый раз. Она к этому обращению привыкла, — и все же вид у нее сразу делается сконфуженный, виноватый... Вода течет с ее черного облачения, и на каменном полу сразу образы-

вається большая растекающаяся лужа, в которой, переламываясь, отражаются красные огоньки сонного очага...

— Дда... так вот оно как!.. — мычит кюре, слегка поворачиваясь к женщине: — значит, это монашки так, а?.. Святые сестры?..

Она все стоит молча, иззябшая и мокрая. В черных, слегка косящих глазах ее сложное, непонятное выражение, — и страх, и нежность, и злоба... и какой-то совсем особый — острый и болезненный пламень... С утра она мечтала об этом часе. Молилась, занималась в школе с тремя десятками детей, пела с ними, обедала, опять молилась, просматривала детские тетрадки, заходила потом в два дома к больным, в одном проколола ребенку нарыв под ухом, в другом приготовила настойку из авриколя... Дома опять молилась, долго стоя на коленях и отбивая поклоны... и все время в тайной лихорадке сладко мечтала об этом ночном часе, предвкушая радостный трепет любви...

И вот стоит она, бледная, морщинистая, иссохшая женщина, тридцати четырех лет, дрожит вся и томится, ей стыдно, ей больно,

ее жжет огонь, два разных огня, — страсть и злоба, — стоит она и не знает, что сделать: осыпать нежными словами этого человека, бурными ласками, или же в отчаянии зарыдать...

— Да-с... монахини, священники... хо-хо, — говорит кюре. — Будто неизвестно... Ну, что-ж, садитесь, святая дева, к огню, вы такая мокрая и холодная — какой в вас вкус?..

В глазах женщины страдание, — но и острее вспыхивает в них тот особенный, болезненный пламень... Она опускается на стул у очага, а кюре придвигается к ней. Ничего не говоря, а только шмыгая носом, на котором вздрагивают темные бородавки, и для чего то жуя и чмокая, он начинает ее разстегивать...

— Милый... милый мой, — стыдливо замирая лепечет она.

Он все сопит и чавкает, и его красные, выпуклые глаза делаются злыми, как рычание ветра за окном.

— Ну не так... милый... ну не нужно так... Не сразу, дорогой мой!.. Это потом...

— Л-л-ломайся тут!..

Все в ней переворачивается. Ока чувствует

нестерпимое оскорбление. Он отвратителен ей, гадок и гнусен, — эти красные, выпуклые глаза, губы жующие, тяжелое сопение мясистого носа... Все, что есть женского, чистого в е духе, возмущенно закипает и страдает горько... Но и тело, подавленное девственностью, ею оскорбленное, стонет в лютой муке... И тот пламень в глазах монахини, особенный, острый, больной, расширяется и растет...

— Но ты приласкай же меня, — сквозь рыдания нестерпимой обиды, — но и в блаженном обмане всежигающего потрясения, — молит она: — милый мой... скажи, что любишь... милый... приголубь же меня... ласкай же... ласкай... радость моя...

— Корррова!

Он быстро действует короткими руками, тоичет ее коленями и задыхаясь чавкает:

Кор-р-р-ова!.. И нужен тебе ббугай... бугай... А я тебе не милый... не милый я...

Дико корчась, хохочет ветер за окнами; радуясь, визжит дряхлая колокольня, а липы на кладбище, вспоминая о чистом цвете своем, плачут и горько стонут, раздавленные тьмой. Ведьмы же вытаскивают мертвецов из ста-

— Нет, ты не издохнешь!.. В припадке дикой злобы кюре бьет тлеющее полено ногой. Оно падает в золу и гаснет. Одни только красноватые искорки освещают теперь искривленную, давно небритую физиономию Дельгорга.

— Погасло? — бормочет кюре, угасая и сам. — Черт с ним. Пусть... Пусть гаснет. Пусть гаснут и искры. И пусть идет к черту все... Погибла жизнь, изувечена, испаскужена... Если действительно это дьявол теперь топчется со своими ведьмами на кладбище и волочит по лужам покойников, то эту подлую старую девку из замка, контессу де-Гранваль, пусть он тормозит сильнее всех. Гнусная тварь! Загладить хотела свое многолетнее распутство, подкупить бога, и учредила стипендии для крестьянских детей, которые согласились бы сделаться попами. А старики Дельгорги соблазнились к отдали своего мальчика в семинарию... Сам то старик вон какой был! На пятьдесят третьем году овдовев, сейчас и женился на красивой, коренастой девушке. Детей у него шесть душ, а внуков что-то около двух десятков. Крепок ста-

рик и по сей день; с зарею он выходит на пахоту, обдают его первые лучи своей лаской, приветствует его влажное поле ароматом, и ему машет дружелюбно ветвями старый приятель, лес. Для него живут и овцы его, и его кони, и быки, и пчелы на пасеке, и в голубятне голуби, а он сам, тоже для них живет и трудится, — для полей, для быков, для голубей и для пчел. В неутомной и сложной работе проходят дни всех членов семьи, все здоровы и крепки, и радость жизни на земле пьют по мере своей жажды. Но его уже мальчишкой изувечили. Его отдали в семинарию, а в семинарии был краснорожий наставник аббат Ренуар... и другое...

— Опаскудили меня, — стонет кюре, — А кому отомщу?

Пройдя через ряд годов, уродливых, нелепых, вот сидит он здесь в тревожную ночь осени, с полунагой женщиной, которая ему противна, но которую он может быть и любит, сидит и, в тяжелой потребности кому-то мстить, ищет слов, чтобы ими ее убить.

— Любовь?... Тебя, обглоданную, любить?...
Едва освещенная на подбородке и под бро-

вьями красноватым трепетом искр, не поднимая упавшей на иссохшую грудь головы, она с судорожной торопливостью схватывается за стакан. Он продолжаетъ.

— Ходишь ты ко мне, потому что я вот не выдам тебя... А я с тобой паскужусь тоже потому, что ты меня выдать не можешь... Будто неизвестно!... Тебе, монашке, запрещено любить, и мне, попу, запрещено любить... Вот... И одиноки мы... Но ты мне противна, и я тебе омерзителен.

— Омерзителен, дьявол!...

— Да... Но бугая ты желаешь... Да...

Кюре говорит медленно, тихо, мерно, как капает на каменные плиты расплесканное по столу вино...

— Потому что, — природа... Но ме-е-е-рзкая ты!... и — старуха... На шесть лет я моложе... Да... Вот к девке я раз пошел... Пошел я... оделся в светское и пошел... Она по бритым усам за лакея меня приняла... Так то, знаешь ли, была женщина! Ту можно было любить!... Думаешь, как ты, обглоданная?...

Дождь хлещет, рычит и воет лес, и липы на кладбище кричат в страхе. Пожалуй, — и

сломит их втер. Но колокольни ему не сломать. Она — сильная, эта колокольня. Она сама всх сломит, и ветер тоже разобьется об нее и изувеченный упадет въ грязь...

Воет непогода. А кюре подробно и спокойно описывает сидящей перед ним женщине проститутку, с которой когда-то пошел, — пошел-ли? — и которую можно любить. Описывая, он делает так, чтобы оскорбить подругу свою как можно острее, чтобы унижить ее в ее чувствах женщины, монахини... Он расхваливает тело проститутки, отдельные части его, рассказывает, как умела она любить и какими ухватками любовь вызывала... Слова при этом кюре употребляет самые циничные и грязные, а то, чего не может выразить словом дорисовывает телодвижениями... Монахиня, крепко стиснув зубы, молчит. Но порою она вдруг тяжело застонет, и тогда кюре чувствует, что ему делается легче.

— А ты что?... Ты дохлая. Ты обглоданная...

Он протягивает босые с кривыми пальцами ноги теплему пеплу очага и пьет вино.

— Ты очень хорош? — огрызается пьянеющая монахиня.

— Я омерзителен... Будто неизвестно!... Но тебе не меня надо... Тебе подпоручика хотелось бы, сына судьи, молоденького... но он на тебя, обглоданную, и плюнуть не захочет...

— Неправда, я тебя люблю, тебя! — в тоске взывает женщина.

И ей действительно кажется в это мгновение, что она любит. Она хочет любить. Она хочет, она жаждет, она подавлена могучим желанием любить, — любить красиво, чисто, благоговейно, любить самоотверженно и свято, — до обожествления, до крестного страдания... Светлые грезы юности, чистые мечтания ранних годов, как от хрустальной росы, как от животворного дыхания серебристой феи, все вдруг поднялись в воскрешенной душе и ее озарили... Вот она — любовь!... Белым ландышем тихо распустилась она и торжествуя сказала: «здравствуй!...»

В страстном порыве, вся просветленная, улыбаясь и рыдая, монахиня бросается к Дельгоргу, обвиняет трепетными руками его шею и нежно, с мольбою, с ликованием, протяжно шепчет.

— Люблю... люблю... люблю...

... Кажется, ветер упал за окном. Кажется, затихли визг и гикание ведьм в лесу. Кажется, дрогнула тьма около церкви, и золотая звезда блеснула меж туч.

— Люблю... люблю...

Кюре Дельгорг, потрясенный, встал. Со страхом, почти с ужасом, смотрит он на прикишную к его груди женщину. И все в нем взволновано, все фибры сердца напряжены в великом, жестоком колыхании...

— Что?... Ты... действительно... ты любишь?...

А через мгновение дикие вопли исступленного человека покрывают и топот его ног, и крики леса, и тяжкое рычание духов за окном.

— Не смей, проклятая!... Ложь это, ложь!... Тебе бугай нужен, бугай, бугай...

С постели, на которую он яростным жестом ее отбросил, она смотрит на него умоляющими и в то же время губоко ненавидящими глазами; она рвет у себя на груди одежду, — а одежды никакой нет...

Он топает ногами сильнее.

— Зачем ты растравляешь рану!... Зачем

ты говоришь про любовь!... Любви у нас быть не может, не может...

Среди тоскливых стенаний леса раздался глухой и протяжный звон. Должно быть пришел из полей особенно сильный порыв ветра и ударил на колокольне в колокол... А может быть это ударили в него ведьмы, радуясь ужасу людей...

— Не нужно этого слова, не нужно, — мягко и скорбно, как доброе дитя, чувствующее дыхание смерти, сказал потом кюре. — Любовь... Нам не следует произносить это слово... никогда... II.

И ни разу после той ночи они не сказали этого слова.

Она приходила к нему, прокрадываясь полями в полные шумов осенние ночи и в немые ночи зимы, они как могли, насыщали темные желания тела, но души их оставались неутоленными, и живые лучи любви к ним не прорывались... У нее были свои грезы, у него были свои видения, но в смрадную муть своих сношений ни монахиня, ни кюре их не вводили. Молча вспоминали, молча лелеяли, молча, с беззвучной мукой, их оплакивали,

но в слово не облекали и друг другу не доверяли. Они сходились, согнанные скотским влечением, разрешали себя от железной тяжести его, потом — два врага — больные, тусклые, отвращением и злостью налитые, сидели перед огнем и пили... Кричит ненастье и плачет, слабо потрескивает полено в очаге, жалуясь на свою огненную муку, и как будто доносится порою усталый лай собаки. Медная светильня, на которой нет стекла, тускло светит мертвенным огоньком, и тянется от него кверху плотная полоска копоти. А две темные фигуры — священник и монахиня — сидят, поникнув, и черные тени их на стене неподвижны, как убитые. За стеною же церковь, холодная, пустая, с каменным полом и под полом этим зарыты ограбленные у людей радости. Священник и монахиня ничего не говорят друг другу, а мысли у них одни и те же. Проходит пять минут, десять... Рука протягивается к стакану, подносит его ко рту. Стакан осушен, налит снова... И опять безмолвие, опять неподвижность мертвецов, и опять смешиваются глухие вздохи людей со скрежетом бури... Мысли уже не бродят; они

остановились, слились в одну тяжелую, черную массу — как и эти осенние тучи на небе — и как они, давят душу... как будто воспоминания какие-то встают, — о чем-то хорошем, о чем-то дурном, — как будто угроза мелькнет, как будто жалоба... И тоска. И злоба. И бессилие.

И близко — пустая, холодная церковь — грабительница, с каменным полом.

...Не поднимая головы, держа перед собой недопитый стакан, кюре начинает свой старый рассказ о том, как отдали его в семинарию. А если не об этом, так про свое посещение проститутки. Вяло, тускло, монотонно и без конца плетутся его слизистые слова, и кажется тогда, что тянет кюре из горла глистов... Посещение одно было, но рассказов о нем бесконечное число, и самих проституток тоже много: вот плотная бельгийка с косой до пят, светлой, как маис; вот она уже испанка, тонкая и гибкая, как ветка смородины, и глаза у нее точно искры; а потом оказывается, что она абиссинка, жена знаменитого вождя, убежавшая от мужа... Хилое воображение кюре, придавленное алкоголем, нескладно сли-

вает нечистые грезы старого девственника с когда то читанными романами жалких авторов и со сплетнями деревенских хроник... И так часто варьирует и путает он свое повествование, что порой уж не знает и сам, действительно ли был он однажды у женщины, или этого никогда не случилось... А монахиня, привыкшая к рассказу, уже не слышит его, и выпивая стакан за стаканом, отдается бессвязным думам пьянеющего человека; и при этом встают в ней и шевелятся какие-то дикие желания, какие-то злобные и мстительные планы... Но вот снова тянется к ней кюре своими короткими руками, снова пристально смотрит на нее своими красными жадно и похотливо ухмыляющимися глазами, — «будто неизвестно!» — и она снова отдается ему...

* * *

Так проводили они свои ночи, — в пьянстве, в злобном распутстве, в циничных и грязных разговорах о грязных и циничных вещах.

Она уже знала, отправляясь к нему, что он заведет свое неторопливое повествование о

небывшей ночи разгула у проститутки, и это заранее переполняло ее тоской и омерзением. Омерзительно было именно то, что он вяло и сонно будет рассказывать, все про одно и то же, и все с теми же убогими вариантами, уже известными, похожими друг на друга, как схожи меж собой волдыри на лице прокаженного. В чахлах словах его нет красок, нет жизни, нет страсти; дремотные, хромяющие, как больные старухи в богадельне, они плоско шлепались друг на друга, точно одна лопата навоза на другую, и в конце концов образовывали большую плотную кучу, из которой уныло вытекала глухо смердящая, темная лужица... Это давило женщину, раздражало ее и вызывало в ней, вместе с презрением к Дельгоргу, какое-то особенное буйство духа, особую ярость...

И вот однажды, — как раз на Рождество это было, — когда затянул кюре свою мертвую историю, монахиня вдруг прервала его и разразилась бурной и дикой импровизацией. Торопливым, звонким голосом, сверкая глазами, начала она извергать из себя целые рои грязных слов. Высокая, очень сухая, с блед-

НЫМ ЛИЦОМ, с кое-какими остатками монашеского облачения на полуголом теле, она вся извивалась и трепетала от гнусной силы своих мерзких речей. Это был жгучий ураган цинизма, похабства, невообразимой развращенности. Все самое грубое, самое обнаженное, самое низменное и скотское приходило на ее язык и с него срывалось, как мутные каскады зловонных отрав. И жесты у нее при этом являлись особенные, — ошеломляющие бесстыдством жесты старого, уже бессильного, но еще горящего нечистым огнем развратника... Кюре смотрел на нее, изумленный, встревоженный, — и восхищенный. Его красные глаза округлялись, выпячивались, становились еще более красными; губы, изломанные в страшную улыбку, дрожали, делались попеременно то совершенно сухими, то липко-влажными. Его обдавало зноем, его сковывало стужею, он начинал хрипеть, он подхватывал падавшие с буйного языка монахини мерзости, и трепетно взвизгивая, повторял их... Слова были, как смрадные нарывы, но он упивался ими, он точно раскусывал их желтыми своими зубами, жевал их в острой радо-

сти ужаса, захлебывался и давился едким соком, который затоплял ему и рот, и горло, и липкими струями растекался по подбородку... Он корчился в клокочущем пламени, дико вскрикивая рвался к монахине всем сухим своим телом, и в муке протягивал к ней трясущиеся руки... Она не давалась. Она отскакивала дальше, и еще бурнее, еще омерзительнее делалась одуряющая пляска ее раскаленных слов, и еще бесстыднее становились ее телодвижения... Сияющими глазами водит она по сторонам, и смех, буйного торжества вдруг вырывается из ее горла: ведь это — квартира священника! вот он сам, — и раздетый; вот облачения его; вот требник, с вытисненным на переплете крестом... в глухом сумраке четко выступает на стене большое распятие из серебра и желтоватой кости... А у нея, на обнаженной шее, четки; они бьются и припадают к мятущимся, плоским грудям ее, и черный крест на четках бьет ее по животу, который от бешенных жестов оголяется... Яростнее делается клокотание в женщине, острее ненависть, и выше вздымается распалая жажда мести... Уже не слова — огненная

нечисть, кипящий гной кощунственного бреда изрыгает она. Все надо разрушить! Над всем надругаться, над высшим, над святейшим, — все осквернить, затопить зеленой блевотиной смердящих гадюк, и все растоптать сильною стопою замученного богом человека.

Но, — богом ли?

Не человеком ли только?

Все равно!

Зажженному мозгу не нужно теперь правды, ни человеческой, ни божьей. Он свою имеет правду, единственную и вечную: убит человек, украдена любовь его, ограблена жизнь и осквернена, — и, недомученная, живою погребена под плитами церковного пола. Правда — в мести!

И жаждет душа мести, и исступления жаждет она.

Монахиня извивается, — от высшего упоения, от крайнего ужаса. Гнусные выкрики теперь дико перевиваются со словами молитвы, похотливые взвизгивания — с обрывками чистых кантиков, и чудовищные движения непристойности с благовейным жестом пра-

ведника, осеняющего себя крестным знаменем...

Бешенное метание продолжается, оно превратилось в смертоносный самум, стоны рвутся из груди женщины, подошедшей, к безумию, и задыхается, стискивая зубы, кюре... Вот стена, окна. По ту сторону — церковь, в ней алтарь, лики св. Девы и сына... Кресты над могилами, и на крестах святые слова молитв... Великие тайны жизни и смерти, — и полунагая женщина, монахиня, со страшными словами богохульства, зажигающими кровь неведомым блаженством небес... Кюре срывается с места и в экстазе бросается на нее, — чтобы ее убить, чтобы с ней слиться в одной, высшей конвульсии наслаждения... Но она все не дается: еще не кончено. Еще она не победила. Еще до края краев, до высшей вершины не вознеслась, еще бессмертного алкания своей поруганной души не утолила... С острым хохотом, похожим на рыдания, бросается она к стене, срывает с нее распятие и...

Кюре не может понять того, что делает женщина с распятием...

Вот она, — в двух шагах. Всего в двух ша-

гах, — хохочет и делает свое...

Он стоит молча, не шевелясь, смотрит, в смертном ужасе, покрываясь потом агонии — и понять не может... И кажется ему, что он летит в преисподнюю, но в преисподней — рай.

В его глазах кричит красный огонь, от огня этого вся комната заливается кровавым блеском, и в алое зарево обращается женщина.

— Ты дьявол! Ты дьявол! — падая стонет он. А нагая монахиня, в это время набросившись на него, сдавливает ему горло железными пальцами и бешено его целует.

Кюре Дельгорг чувствует отчетливо, что он донесся в преисподнюю, и в преисподней — рай.

* * *

Выпал снег, довольно глубокий; не успел он осесть и уплотниться, как пошел снег вновь, и вот уже занесло всю деревушку, и поля, и лес. Ветра не было; после крикливых бесчинств осени особенно ясно чувствовалось теперь тишина, и приходило в голову: не снег ли схоронил под собой все звуки и шумы?

Церковка тоже покрыта была снегом, и к

ней он не шел, как не идет кривой старухе подвенечный наряд. Она была тихая и сонная, но недоверие вызывало и безмолвие ее, и ее белая одежда. «Вот стоишь ты и молчишь, а высунется из притаившейся пустоты твоей большой коготь, и пойдет расправа»...

Кюре Дельгорг с особенной суетливостью расчищал снег перед своим домом, а дорожку по пустырю проложил до самой улицы. Жители не понимали для чего это нужно и презрительно пожимали плечами. Они все больше укреплялись в своей нелюбви к священнику, и все, что он делал, вызывало в них досаду и осуждение. «На какого дьявола нужно этому пьянице расчищать дорогу!..» Они сердито плевали.

Расчистить дорогу нужно было для того, чтобы не приходилось монахине ступать по рыхлому снегу, где можно было бы узнать ее следы. Полями пробираться ей теперь уж нельзя было, — из-за того же страха отпечатать на них следы, — и приходилось красться по улицам, по протоптанным дорогам. В темные ночи это удавалось сравнительно легко, но мучением были ночи лунные. Чтобы про-

браться незамеченной, нужно было прибегать к тысячам ухищрений. Уже несколько раз натыкались на монахиню прохожие и с изумлением оглядывали: куда она так поздно?

Отношения с кюре теперь у нее изменились. Период бурь прошел, и установилось ровное, тихое сожитительство, утрюмое, как кошмар тяжелое, но для обеих сторон совершенно необходимое. Не так мучительны были требования тела, у обеих притупилась ненависть, погасла вражда, но уважения, привязанности, или какой-нибудь симпатии, хотя бы самой легкой и отдаленной, не выросло, и не являлось даже простого сочувствия или сожаления. Кюре так же мало жалел монахиню, как и она его. Они были друг другу чужды, совершенно чужды, — и между тем что-то связывало их обоих в один больной узел, который постоянно стискивался тупым, непреходящим страданием... Его она не жалела, — жалела себя. Ее он не жалел — жалел себя. Но при ней он как то яснее видел себя, свое горе — и глубже себя жалел. То же самое происходило и с ней. У нее было к нему то от-

ношение, какое было к стеклам в окне: ни любви, ни ненависти. Но разбить стекла, — и еще холоднее делается в келье. Других же стекол нет, найти нельзя, и без них остается замерзнуть или замуровать окно камнем и во тьме задохнуться...

Она приходила к нему ночью и, не здороваясь, не прикасаясь друг к другу, они сядили к очагу и пили, — уже не вино, а крепкий одуряющий абсентъ. Если вместо сияния медового месяца были у них вихри черных безумств, то эти угрюмые, задурманенные абсентом ночи заменяли им тихое горение супружеской дружбы. Священник и монахиня сидели понурившись и вплоть до момента, когда окончательно побеждал их алкоголь, думали и говорили все о том, — о горькой муке своей искалеченной жизни...

Снег, молодой мороз на дворе, идет теперь рубка леса, падают крепкие дубы и сосны, с них отсекают ветви, их распиливают на жерди, собирают и вяжут в пучки хворост, — и все это нагружается на телеги и свозится домой. Звенит топор и весело горит на зимнем солнце, ярко сверкают в хододном воздухе го-

лоса работающих, и поматывая головами, испуская из ноздрей белый пар, стоят в ожидании, запряженные в длинные телеги, лошадки... И лошади, люди, и даже эти срубленные деревья делают настоящее нужное дело. Жила сосна жизнью дерева, а теперь будет существовать как жердь, балка, стропило. Крепкая жердь, крепкий работник, крепкая лошадка, — и обнимает их всех крепкий морозный воздух, который им рад и которому они рады. Но поп сидит хилый в своей одинокой квартирке, — будто неизвестно! — и думает, что вот, надо идти в сумрачную церковку, где сквозники и пахнет мерзлой гнилью, и для чего то произносить латинские слова, венчать людей, крестить младенцев...

Унылого, хриплого голоса кюре монахиня, всегда погруженная в свою собственную тоску, не слышит. Но когда заговорит Дельгорг о крещении младенцев, она быстро поднимает голову, и по лицу ее пробегает трепет. „Младенцы!..“ Рожают их, крохотных, розовеньких, крикливых... И ребенка надо купать, пеленать, кормить... Ребеночек барахтается, машет ручонками, поднимает кверху ножку... и

на ножках у него такие маленькие, маленькие пальчики, и тоже с ноготочками... Загибаются и разгибаются, загибаются и разгибаются... Он смотрит своими круглыми глазами, смеется, — а в открытом рту над двойным подбородком два зуба видны. Два!

Монахиня дрожит. Выражение скорби лежит на ее желтом лице, и она как бы недоумевает. Она растерянно озирается, смотрит на себя, на свою грудь: плоская, как тряпка, засохшая, никому не нужная, никому не служившая... А вот здесь и лежал бы ребенок... захлебываясь, чмокая, схватывал бы всеми десятью пальцами вздутую, лопающуюся от обилия молока грудь, пил бы жадно, и от счастья тихо ворчал бы... Он весь атласный, он мягкий, он толстый — толстый, как подушка, он теплый, и он такой здоровый!..

Монахиня сквозь пары абсента видит его, — так ясно и отчетливо видит и смешные жиденькие волосы на темени, и глубокую складку на заплывшем затылке, и тоненькие ноздри, которые раздуваются от радости есть, и этот круглый, белый живот, в котором переваривает теперь маленький обжора моло-

ко, — ее молоко!.. О, какое оно чудесное!.. Оно здоровое и крепкое, оно такие сильные соки разнесет по всему пухлому тельцу ребенка, и не так, чтобы обыкновенный человек — гигант вырастет из этого малютки, гигант какого на земле еще не было...

И разве только одного вырастит она? Шесть человек детей будет у нее, десять, пятнадцать!..

В странных грезах, в великой тоске по неизведанному материнству сидит безмолвно женщина, блуждающие глаза ее широко раскрыты, и видит она себя народившей несметное количество детей, прекрасных, светлых, и она всех их оберегает, растит, лелеет. Толпами идут они за ней, окружают ее, играют около нее, веселятся и поют, а у нее нет ни минутки для отдыха, для еды, для сна. Сосредоточенная и углубленная, она только о детях хлопочет, только о них заботится. Чинит, штопает, гладит, моет... Но им не нужно ничего штопанного и глаженного, им ничего не нужно, потому что это не такие дети, как у всех, это херувимы, они кружатся, как птички, в синеве небес, машут зелеными ветками,

рассыпают белые цветы и поют радостные, светлые песни. И с ними вместе поет счастливая мать...

В ближайших к церкви домах, просыпаясь, люди слышали порою странное пение. И тогда они с ненавистью говорили, что пьяный кюре, верно, совсем уже сошел с ума, — или же связался с нечистым...

А счастливая мать пела все чаще...

Ночь. Лунная. Вышли одетые в саваны мертвецы, — все зарытые в землю мертвецы вышли и легли на нее. И радости человека, убитые и погребенные под плитами церкви, тоже вышли. Так много мертвецов и так много убитых радостей, что места оказалось мало, и пришлось им лечь вплотную, и тесно прижаться друг к другу. А люди живые смотрят на них, на белых, и говорят, что это снег.

В полях, на огородах, в лесу на деревьях, на крышах домов, видят люди снег; на самом же деле это везде сидят мертвецы в белых саванах, и мертвецы эти — убитые радости, неродившиеся, в чреве истребленные, в семени замученные дети монахини. Ее это дети. Они грустно смотрят на нее, плачут искристыми

слезами и мертвым голосом безмолвно жалуются.

А когда поднимется ветер, то те которые сидят на ветвях в лесу, начинают грозно укорять, вопить о мести, и мерзлыми прутьями бьют ее, прямо в душу...

— Потому что мы их убили, — сурово говорит ей кюре...

— Потому что мы их убили, — покорно шепчет за ним монахиня.

Он смотрит на нее красными глазами, а она, отмахиваясь, мучительно стонет.

Соседи не раз слышали и стон, долетавший из дома кюре. И тогда они говорили, что было бы даже очень странно, если бы сатана не душил этого мерзкого пьяницу.

* * *

Они вместе пили абсент, — и это было все. Этим исчерпывалось теперь все содержание их отношений. Даже разговоров становилось все меньше; было долгое глухое молчание и среди него, протяжные вздохи. Грязнее, запущеннее сделалась квартира кюре, и сам он очень осунулся, постарел, а глаза, выпуклые как орех, сильнее налились кровью. Абсент

сжигал ему внутренности, желудок плохо варил, и оттого изо рта Дельгорга шел тяжелый густой запах. Когда кюре приближался к монахине, она с омерзением отворачивалась и ладонью разгоняла перед носом воздух.

...Зима уходила, снег везде стоял, и даже те узкие полосы его, которые укрывались меж крестами на кладбище, тоже слизаны были теплыми языками предвесенних туманов, и уже вся земля была мокрая и черная.

Около полуночи монахиня пришла к кюре, совершенно трезвая, и даже не прикоснувшись еще к стакану, сумрачно заявила ему, что у нее несчастье: ушли от нее дети. Все нерожденные ею и ею убитые дети ее ушли, и теперь нет нигде и следов от саванов, все везде черно.

Кюре внимательно посмотрел на говорившую, молча сел и молча взялся за стакан. Минуты две спустя, он снова поднял на гостью глаза и деловито нахмурившись стал рассказывать, что пошел однажды к проститутке, принявшей его за лакея, а она была абиссинская немка, до того похожая на испанку, что ее часто принимали за англичанку из Рос-

сии...

— Я убила моих детей, — повторила монахиня, — и они от меня ушли.

А за окнами опять, как осенью, хлестал дождь, и бились в черноте меж землей и небом буйные крики. Но теперь эти крики были иные: в них жили важные намеки на доброе что-то и огромное, на тронувшуюся из далеких мест в дорогу живую весну. Если прислушаться, то уловишь отсвет щебетания ласточки, дыхание одуванчика и ласковый стук солнечного луча об его золотой лепесток...

Кюре быстро поднялся, схватился обеими руками за край стола и впиваясь расширенными, выпуклыми, налитыми кровью глазами в монахиню, трепетно вскрикнул:

— Послушай... Мы... мы сходим с ума!

Женщина молча кивнула головой.

А потом она сказала:

— Нигде нет ни малейшего следа савана.

Она села, выпила стакан абсента и тотчас же выпила другой.

Могильщик Жако в это время доказывал кабатчице Анайзе Виар, что очень даже легко

может покойник живого человека ткнуть в пруд. Каких еще, черт побери, надо доказательств, когда Моншагрэн, пастух в Лэрвиле...

В эту ночь монахиня оставила кюре довольно скоро.

Так как теперь снега не было, и нечего было опасаться отпечатать на нем следы, то монахиня могла бы идти задами полем, как осенью, до снега. Но, — оттого-ли, что не подумала, оттого-ли, что уже привыкла, оттого-ли, что теперь ей было все равно, — она вышла на пустырь и направилась улицей, около кладбища...

— Не хочу!! Ай, ай-ай-ай!.. — заорал могильщик Жако, наталкиваясь впотьмах на женщину. — Не хочу я в пруд!! Не хочу!!!..

Он заорал таким страшным, нечеловеческим голосом, что монахиня отшатнулась. Она поскользнулась при этом на липком откосе и грузно шлепнулась на ступеньки у кладбищенских ворот.

Огромные липы по ту сторону ограды звонко шумели могучими верхушками и с радостью впивали в себя теплые капли дождя. Он знали, что дождь этот несет им живую си-

лу, веселую зеленую молодежь на ветви, и сладкое благоухание нового цвета. Монахиня же, которая про это тоже знала, сидела на камне ступенек, смотрела в мокрую тьму и говорила, что ни малейших следов белого савана нет, нет нигде...

— Так поднимись-же! — кричал ей ветер с верхушек лип.

И она спросила:

— Зачем?

— Пойди же домой!

Она спросила:

— Зачем?

* * *

— Зачем мне идти домой, подумай сам, ну подумай же! — тихо говорила она, стараясь придать своему голосу как можно больше убеждающей силы. — Моих детей дома нет. Моих детей я убила. Я убила любовь мою и детей моих. Жизнь мою я не убила, — убей ты!.. Я прошу тебя, я молю тебя убей мою жизнь! Вот она, перед тобой, и ты убей...

Ветер рвал ее, толкал, гнал домой... Но она цепко ухватилась обеими руками за камни ступенек, припав к ним грудью, — и так как

ей помогал абсент, то вдвоем они ветер победили, и она осталась.

Ее бросало в огонь, всю ее обкладывало острыми льдинами; стучали зубы ее и на куски разламывалась пылавшая голова, — но монахиня с места не встала и домой не ушла.

Только перед рассветом, когда бледностью покойника стал наливаться холодный воздух, поднялась она, вся насквозь промокшая, и тихо шатаясь, побрела к себе.

А через три дня кюре Дельгорг причащал умирающую, и по выражению ее глаз было видно, что она узнает его...

На похоронах собралось много народу: день был воскресный, люди были свободны, да и солнце светило так по весеннему радостно, так хорошо, что всем приятно было пройтись и постоять под его золотым благословением. Кроме того, пошли уже по деревне догадки, и всем хотелось посмотреть, как будет поп хоронить свою любовницу... Донос на него и на монахиню невытерпевший мэр грозному епископу из Шомона уже послал, еще с неделю назад, и со дня на день ожидалась расправа... Теперь, однако, она коснется

уж одного только Дельгорга... На кладбище пришла почти вся деревня. Могилу вырыл Жако, и он же выносил покойницу из церкви. Днем, и на людях, он мертвецов не боялся; днем плевать хотел Жако на мертвецов!

Кюре Дельгорг служил заупокойную мессу. Глаза у него были мутные, красные и блуждали так странно, что смотреть было противно, — и жутко. И голос звучал очень противно. Над гробом, перед разверстой могилой, он, заплетаясь и путаясь, говорил латинские слова, *ego sum resurrectio... etiam si mortuus... credit in me... Pater noster...*

И не сразу заметили и сообразили стоящие вокруг простые деревенские, весело настроенные люди, что с непонятными латинскими словами молитв, священник стал сплетать слова французские... То были бесстыдные, мерзкие слова, которые выкрикивала когда-то в припадках своих монахиня... И когда объятые ужасом крестьяне наконец заметили и кинулись к пастырю, он взял в обе руки распятие, — то самое, большое из серебра и слоновой кости, — и при всех людях сделал с ним то, что когда-то сделала монахиня.

1908

